139 Станиславский К.С. 24.10.98

Известия. — 1998. — 24 окт. — с.7

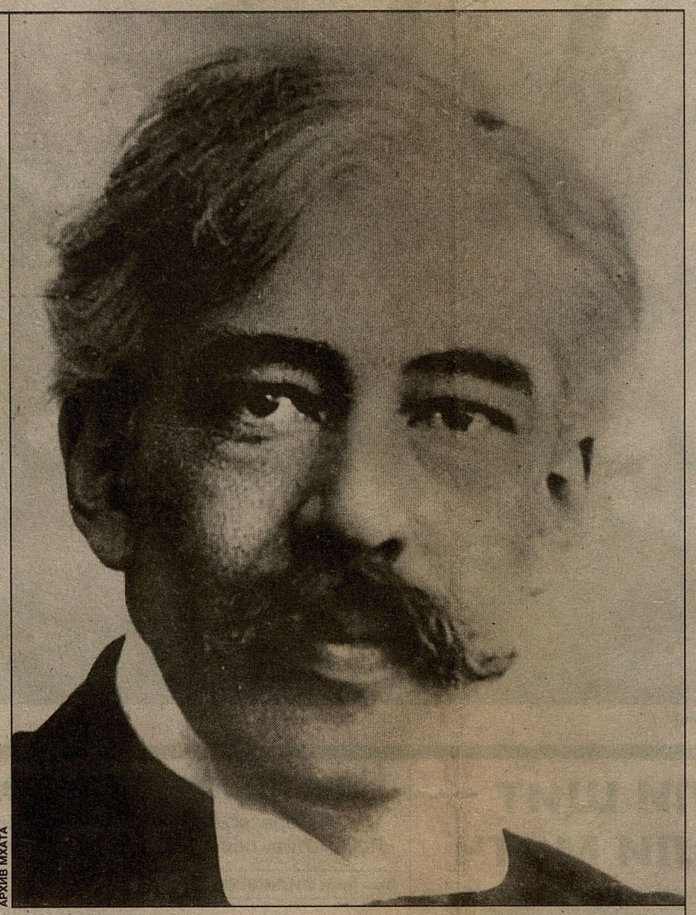
Окаянные дни Станиславского

К 100-летию МХАТа. Из писем основателя театра

Больше десяти лет назад мы в Школе-студии МХАТ начали издавать новое собрание сочинений Станиславского. Подготовка и сам ход публикации сопровождались бесконечными трудностями. Тома «зависали» (иногда на несколько лет!), не раз казалось, что издание прервется, поскольку выдыхалась федеральная программа, призванная поддерживать этот проект. В последний момент кто-то помогал (чаще всего Иван Дмитриевич Лаптев, председатель Госкомпечати), книги продолжали выходить, и вот наконец дело дошло до финала. Подготовлен девятый том — важнейший во всем издании. Думали, что он выйдет в дни столетия МХАТа, но в очередной раз произошел сбой. Государство оказалось неспособным издать книгу человека, который, как мало кто иной, принес своей стране всемирную славу. В конце концов дело, конечно, не в славе и не в юбилейных почестях. Эта книга нужна для восстановления нашей памяти, для понимания того, что произошло с Художественным театром, с русской культурой. Документы девятого, «зависшего» тома, которые мы предлагаем сегодня читателям «Известий», открывают реального Станиславского в контексте реальной жизни Художественного театра и Советской России. События общерусского значения сопрягаются тут с тем, что сам Константин Сергеевич называл «простым днем». «Квартирный вопрос» или государственная проблема калош, которые надо достать студийцу П. Румянцеву, развлечения интеллигентов 1922 года в академическом санатории «Узкое» или впечатления Станиславского от театральной Москвы после двухлетнего пребывания в Америке — все сливается в образ новой становящейся жизни, которую он попытается осмыслить в своем искусстве. «Простой день» наполняется гулом истории. Когда этот том писем выйдет (а вся надежда опять на И.Д. Лаптева), станет невозможной «резьба по дереву», которой с таким успехом занимались много лет «канонизаторы» МХАТа.

И, наконец, последнее, что следует сказать. Письма, как и весь девятый том, подготовлены к печати И.Н. Виноградской, автором знаменитой четырехтомной «Летописи жизни и творчества» Станиславского. Девятый том продолжает и в большой степени подводит итоги делу ее жизни. В настоящей публикации письма печатаются с сокращениями.

А.М. СМЕЛЯНСКИЙ,
главный редактор Собрания сочинений К.С. Станиславского



АРХИВ МХАТА

К. С. Станиславский (предположительно 1916—1920 гг.)

И.Н. Берсеневу и Н.А. Подгорному
[После 1917 г. Москва]

Дорогие Иван Николаевич и Николай Афанасьевич!

Сейчас Качалов рассказал том, что сегодня рабочие устроили вам новую сцену, которая, вероятно, оскорбила и охладила вас по хорошему доброму и трудному делу помощи, которое вы на себя взвалили.

Зная хорошо это чувство одиночества и неудовлетворенности по большому личному опыту, я считаю долгом именно в эту минуту обратиться к вам, чтобы уверить вас в том, что вы не одни и что ваши обиды больно отзываются и в нас. Ведь обижают и оскорбляют не вас лично, а целое сословие. Но... мы должны быть мудры! Нас не может оскорбить дикость людей, еще не получивших крещения культуры. Если мы служим просвещению, мы должны быть очень мудры именно теперь, когда все люди озверели и одичали. Постарайтесь ответить на оскорбления, которые не могут вас очернить, сожалением, снисхождением и не доводить его до презрения. Постарайтесь даже не возмущаться, так как ваше возмущение только доставит радость дикарям. Терпение, выдержка и спокойное разумное слово — вот единственное оружие, которым мы можем сражаться. Благородство в ответ на хамодержавие. И никакого раздражения. Вот лучшее наказание для тех, кто хочет куражиться над нами и пугать нас. (...)

Любящий и благодарный
К. Станиславский

Вл. И. Немировичу-Данченко
[После 15 октября 1918 г. Москва]

Дорогой Владимир Иванович!

Простите, что беспокою Вас с своим семейным делом, но, мне думается, оно имеет некоторое отношение к театру.

И вот в каком смысле. Дело в том, что сестра Анна Сергеевна [Алексеева, служила в МХТ под псевдонимом Алеева. — *Ред.*] с семьей — голодают. Сама она совсем больная, почти лежит. На руках у нее больной туберкулезом сын, дочь, которая нужна по дому, и мальчик. Другие дети: один призывается, другие служат за гроши. А в результате — голод и холод. Пока еще — не полный. Моя поддержка пока может выразиться в очень малой помощи, так как я унижаюсь до халтуры лишь в самом крайнем случае.

Принужденный спасать своих близких, — я должен буду еще сильнее отдаться халтуре, то есть еще больше отойти от искусства и театра, как раз в то время, когда я ему становлюсь нужен. (...)

Л. Я. Гуревич
[До 3 мая 1919 г. Москва]

Дорогая, искренно любимая Любовь Яковлевна!

Давно, давно я не писал Вам! Не мог, не писалось. Слишком уж много произошло за эти годы!.. Моя жизнь совершенно изменилась. Я стал пролетарием и еще не нуждаюсь, так как халтурю (это значит — играю на стороне) — почти во все свободные от театра дни. (...)

Далее, ради заработка приходится устраивать оперную студию при Большом государственном театре. Дело в том, что господа большевики принуждают нас взять на себя весь Большой театр и говорят при этом так: Большой театр — труп и Художественный театр — тоже полумертвец, вот их и надо соединить. Наш мертвец внес большую жизнь в труп Большого театра. Все очень оживились, Лужский с Немировичем ставят там «Снегурочку», я же отказался наотрез работать сразу над постановкой и согласился только на студию. Большевики принуждены были уступить и предлагали миллионы на студию. Так ловят неопытных девушек, когда их заманивают и приковывают к публичным домам. Первая забота, чтоб они задолжали побольше. Но я на эту удочку не пошел, так как боялся, что к студии мгновенно присосутся жулики, которых так много теперь прилипло к театрам. Не заметишь, как из ассигнованных миллионов утечет добрая половина. (...)

Жене приходится также очень туго. Во-первых, весь продовольственный вопрос лежит на ней. Благодаря ей мы питаемся прилично. Это чрезвычайно важно для детей, так как у Игоря — туберкулез, а у Киры расположение к нему. Все, что мы наживаем, мы только тратим на еду. Во всем остальном мы себе отказываем. Износились. Сократили квартиру. С ней вышла удачная комбинация, благодаря которой все имущество (а главное — библиотека) пока уцелели. Передняя, столовая и зал отданы под студию (Первая студия и Студия Большого Государственного театра — оперная), одна комната сдается, а в остальных мы ютимся... (...)

Наша художественная жизнь — кипит, хотя мы ничего не выпускаем. Виной этому не артисты, а рабочие. С ними сделать ничего нельзя. Хамство и воровство такое, что потомки не поверят, если б записать. Мы держимся на... (...)

Ваш К. Алексеев

А. М. Горькому
18/VI 1920 [Москва]

Дорогой Алексей Максимович!

Мне, снова, приходится эксплуатировать Ваше доброе сердце.

Дело в том, что арестовали сестру покойного Алексея Александровича Стаховича — Софью Александровну Стахович, которую Вы, вероятно, знаете. Она сидит в Чрезвычайной комиссии; говорят — в ужасной обстановке, с ворами и спекулянтами. (...)

Моя просьба заключается в том, чтоб постараться смягчить ее участь и похлопотать о скорейшем разборе дела и о том, чтоб отпустили ее на поруки. При этом, говорят, необходимо поручительство коммунистов, но у нас их нет среди людей, знающих Софью Александровну.

Простите за беспокойство и примите уверения в моей искренней любви.

Ваш К. Станиславский

В ТЕО Наркомпроса
[Июнь 1920 г. Москва]

Я состою руководителем многих театральных коллективов: 1) Гос. академ. МХТ, 2) Первой его студии, 3) Второй его студии, 4) районной его группы, 5) Оперной студии Госуд. Большого театра, 6) кроме того, я работаю в Студии Комич. оперы при МХТ, 7) принимаю участие в Студии для рабочих, основанной И. В. Лазаревым, 8) в студии «Габима», 9) даю частные уроки отдельным лицам и целым коллективам.

Моя болезнь не позволяет мне много ходить и требует теплого помещения, которое можно иметь только при голландском отоплении. (...)

Если состоится предполагаемое выселение из занимаемого мною помещения, то нарушится работа всех коллективов, порученных мне, и мне неизбежно придется отказаться от дальнейшего руководства ими. (...)

19 июня комиссар из МЧК Яковлев и комендант автобазы и другие лица явились в квартиру и требовали моего скорейшего очищения ее несмотря на то, что две недели назад товарищ Бонч-Бруевич лично мне объявил, что постановление о моем выселении отменено и что я могу жить спокойно в моей квартире.

Двери заднего хода мне приказали закрыть и никого не выпускать на двор.

Дрова мне приказано немедленно перенести в дом, что я сделать не мог за отсутствием рабочих рук. Мне удалось запастись дровами на несколько ближайших дней.

Теперь я лишен дровяного сарая, погреба, столь необходимых в летнее жаркое время, и не имею возможности выносить из квартиры помои, которые испускают зловоние.

Таким образом, я, без всякой вины, — наполовину подвергнут домашнему аресту.

Прошу оградить меня от все учащающихся случаев вторгания в мою квартиру, выдав мне какой-нибудь охранный лист, гарантирующий мое спокойствие для работы.

В Управление Государственных академических театров
[9 декабря 1920 г.]

Студиец Оперной студии государственного Московского Большого театра Павел Иванович Румянцев не имеет галош. Так как ему приходится два раза в день ходить с Зацепы на занятия в Студию (Каретный ряд), то он часто простужается, что мешает занятиям. Поэтому Студия просит оказать возможное содействие в получении Румянцевым галош.

Заведующий Студией
К. Станиславский

И. К. Алексееву
[После 3 июня 1925 г.]

Дорогой, любимый Игоречек!

Пользуюсь открывшейся мне свободой для писания. (Получил ли ты первое мое письмо, написанное в первый день Пасхи?)

Начну со здоровья. Мама в Стрешневе у Лиознер. Уже месяц. Ей лучше. Сначала поправление пошло быстрым шагом, теперь — помедленнее. Главный недуг — нервы и склероз. Опасного ничего нет, но благодаря усталости прежних годов реакция совершается медленно. (...) Я очень устаю. Это единственная моя болезнь.

Теперь хочу нагнать прошедшее и рассказать в общих чертах об истекшем сезоне; сделать общий обзор.

Приехав, я нашел огромные перемены. Прежде всего — в составе самих зрителей. Откуда они пришли? Много из провинций. Первое время нас мало знали. (Не говорю о прежних зрителях. Их мало, и они в театр не ходят.) Казалось, что театр, вернувшись, должен делать полные сборы, но вышло иначе. Вначале сборы были хуже, чем позднее, когда новый зритель нас узнал. Прежде, когда мы, актеры, шли по улице — нас узнавали прохожие. Даже в Нью-Йорке в последнее время то и дело оглядывались, кланялись или подходили с любезными словами. Но по возвращении в Москву мы чувствовали себя совершенно чужими и никто нас не знал. Теперь, постепенно, мы становимся популярнее. Об том, как отнеслись раньше и теперь газеты и прочие наши враги, говорить не стоит. «Актеры они — хорошие, а их театр — никому не нужен» — вот смысл всех похоронных разговоров о нас. В высших сферах отношение совсем иное. Они отлично понимают, что традиции, корни русского искусства, знание, опыт, талант, актерская индивидуальность — только в нашем театре. И потому делают все от них зависящее, чтоб помочь трудному положению нашего театра. Новое учреждение, Репертком (репертуарный комитет), — запретил весь наш репертуар. Кроме того, за наше отсутствие Немирович нагнал долгу от своей нелепой оперетты свыше ста тысяч руб. Конечно, это числится по книгам временной ссудой, но все отлично понимают, что это только название, а ни об какой отдаче не может быть и речи.

Раз что заговорил об искусстве, буду продолжать и об театре. Прежде всего — скажу «вообще», что делается в этом мире. Положение трудное. Самое ругательное слово — это «академич. театр». Еще более бранное — это МХАТ (конечно, первый, так как второй совсем дело — особое, берсеневское). (...) Много театров погорело. Ни один театр летом жалования не платит, так как денег нет. У нас это происходит благодаря мерзавке музыкальной студии... Это подлейшее учреждение — бездарное, безнадежно прилипло к нам, как лишай или карбункул. Под разными чистыми или нечистыми предлогами и слухами [?] Немирович устраивает так, что мы неразъединимы, сплетает с нами бухгалтерию. Вот почему нам на старости лет приходится теперь таскаться по провинции, чтоб нажить деньги на 11/2, 2 месяца отдыха. Сезон, как я уже писал, был трудный еще и потому, что в этом году пришлось заново формировать всю труппу из стариков и молодежи (черта связать с младенцем). Молодежь вся испакостилась в худож. смысле. Одни — затурандотились, другие, как Вторая студия, изломались в разных новых изломах.

На «Горе от ума» (шутка ли) пришлось соединяться и на «Ревизоре» (?!). Это было трудно. Точно сборная труппа из разных, самых разнообразных театров. То же было и на «Федоре», «Синей птице», «Дне». Особо стоит «Смерть Пазухина», так как там почти все играют старики... (...) Я не жду успеха (пьеса пойдет на будущий год). Немирович, который ставит пьесу, не унывает, но у него за наше отсутствие выработался такой апломб, который не всегда оправдывается на деле. Он очень плохо и несправедливо относится к старикам, которые его кормят вместе со всей никчемной его студией. (...)

М. П. Лилиной
19—VI—38 [Москва]

Дорогая, милая Маруся, обнимаю тебя, скучаю, но радуюсь от души, что ты себя хорошо чувствуешь и, по свидетельству всех, бодра и оживленна.

Моя болезнь в том, что появились перебои, доктора их не любят, мне лично они большой неприятности не приносят. Гораздо хуже дело с рукой и геморроем, эти все время беспокоят. Сегодня решили сделать самую маленькую порцию меркузала (мочегонное). Прошлый раз мне от него сразу стало лучше, не знаю, как будет сегодня. Температура у меня 36,1. Всякие занятия я прекратил, и со студией, вероятно, мне больше не придется встречаться. (...)

Но самый тяжелый недуг мой — статьи по случаю 40-летнего юбилея в московский сборник (две) и статья [по поводу] 20-летия комсомола, которая дважды мною написана, но все неудачно. Хуже всего то, что для этой болезни не существует меркузала, который бы вызвал истечение мыслей.

...Воздухом я не дышу, потому что или лежу в кровати (в теплые дни с открытым окном, но теплых дней нет). Либо, когда холодно, сижу дома.

Художник Ульянов при всяких возможностях приезжает писать мой портрет. Бедняга! Трудно иметь дело с такой «натурой», как я. (...)

Прочитываю присланные мне рецензии. Самое блестящее время театра нас так не восхваляли, как теперь. Не является ли это признаком деградации нашего искусства?

Узнал, что о тебе будет писать к юбилею Волков и что он очень увлекается этой работой, потому что обо всех актерах сказали все, что можно, и отзывы о них становятся штампованными, а о тебе не сказано ничего, а сказать нужно много. (...)

Кончаю. Обнимаю тебя нежно. Скучаю, с радостью встречу, но вместе с тем рад, что ты отдыхаешь от Москвы. Обо мне не беспокойся, у меня нет ничего особенного, очередное недомогание.

Крепко тебя любящий
Костя